

Перед лицом катастрофы

Сборник статей под редакцией и с предисловием Николая Плотникова

О. Аронсон

А. Архангельский

А. Ахутин

К. Бандуровский

А. Бикбов

А. Винкельман

А. Дмитриев

А. Доброхотов

С. Зенкин

И. Кукулин

М. Майофис

М. Маяцкий

М. Меньшикова

Е. Петровская

О. Тимофеева

Перед лицом катастрофы

PHILOSOPHIE

Forschung und Wissenschaft

Band 57

LIT

Перед лицом катастрофы

Сборник статей

О. Аронсона, А. Архангельского,
А. Ахутина, К. Бандуровского, А. Бикбова,
А. Винкельман, А. Дмитриева,
А. Доброхотова, С. Зенкина, И. Кукулина,
М. Майофис, М. Маяцкого, М. Меньшиковой,
Е. Петровской, О. Тимофеевой

под редакцией и с предисловием

Н. Плотникова

Фото на обложке: Виктория Ивлева: Харьков, май 2022 года

Umschlagbild: Viktoria Ivleva (Kiev): Kharkiv, Mai 2022



Gedruckt auf alterungsbeständigem Werkdruckpapier entsprechend
ANSI Z3948 DIN ISO 9706

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-643-15317-3 (br.)

ISBN 978-3-643-35317-7 (PDF)

ISBN 978-3-643-15333-3 (OA)

© LIT VERLAG Dr. W. Hopf Berlin 2023

Verlagskontakt:

Fresnostr. 2 D-48159 Münster

Tel. +49 (0) 2 51-62 03 20

E-Mail: lit@lit-verlag.de <https://www.lit-verlag.de>

Auslieferung:

Deutschland: LIT Verlag, Fresnostr. 2, D-48159 Münster

Tel. +49 (0) 2 51-620 32 22, E-Mail: vertrieb@lit-verlag.de

Травма неомеркантилизма и задачи новой культуры

Страшное пробуждение: насилие без утопии

Проснуться в состоянии войны – важный пункт российской культурной истории. В течение нескольких десятилетий он служил хрупким эмоциональным противовесом в нарративе «великой» народной миссии Второй мировой, торжествующе оборонительной и монолитно победоносной. Проснуться в стране, президент которой объявил невыносимо постыдную войну «братскому народу» – это то, что мгновенно и драматически перечеркнуло три основополагающих презумпции, которые все еще связывали режим нового российского меркантилизма с позитивными утопиями позднего СССР. Этими тремя точками сохранявшейся связи были спонтанная вера в мирные мотивы российской внешней политики, патерналистский интернационализм победителей и убежденность в завершении долгой эры русской деспотии смертью Сталина. Все три умеренно оптимистические презумпции образовывали твердое ядро регулятивной иллюзии исторического прогресса, которая в глазах осязаемой части российского культурного класса, в наших глазах, сводила очевидно противоречащие им тенденции к историческим пережиткам.

Заново институционализированные в 2010-е годы национализм и шовинизм представляли машинерией опасной, но архаично неэффективной, а потому обреченной на скорый сбой. Казалось, прагматичное руководство реприватизируемых государственных институтов попросту не рассматривало ее всерьез, на время оставив пропаганду и образование в руках экзальтированно расторопных фундаменталистов. В доморощенных геополитических и расовых мифологиях, которые подпитывали эту машинерию, звучало слишком отчетливое эхо «безумных 90-х», визгливо резонирующее со стилем сальных бород и заношенных пиджаков. Конвульсивные кампании по защите «чувств верующих» и репрессии публичных критиков, демонстративно реакционные и нарочито анахроничные, вели к реполитизации культурного класса, который был ранее громогласно объявлен необратимо деполитизированным. А систематические сбои в работе публичных институтов, в том числе армии и полиции как институтов легитимного насилия, компенсировались не только активностью гражданских сетей и ассоциаций, но и перековкой мрачного психоза бюрократической власти в вышколенные неолиберальные сервисы.

На деле, десятилетие, отделяющее первый массовый митинг декабря 2011 года против сфальсифицированных выборов от вступления Российской Федерации в полномасштабную войну с Украиной, стало временем крайне подвижного и далеко не мирного компромисса между модернистскими и консервативными фракциями в политике и культуре, который удерживался на трех позднесоветских презумпциях. В логике подобного компромисса колониальная война, начатая деловито циничным и одновременно все-еще-советским истеблишментом, попросту не мыслилась возможной. Ее катастрофическая непредсказуемость породила не только травму неотменимой пост-фактум принад-

лежности к стране-агрессору и убийцам близких, но и травму внезапного пробуждения в обществе, где напряженное, при этом понятное равновесие было грубо разрушено, а связь с позднесоветской мечтательностью прервана окончательно. Если советское насилие поддерживало двусмысленные отношения с учредительной утопией нового порядка (в том числе через риторику уничтожения враждебных классов, а затем и классов как таковых), а послесоветский порядок строился в тени эклектичного компромисса между индивидуальным успехом и корпоративной лояльностью, вторжение в Украину и национальная мобилизация наглядно предъявили голую власть, то есть страшное в своей необоснованности насилие без утопии и компромиссов.

Торжество «вечного» авторитаризма или временное поражение структур гражданства?

Столь непредсказуемое и масштабное проявление голой власти, неотменимо сопряженное с массовыми смертями, настойчиво связывает генетический вопрос «Как такое стало возможно?» с проектным вопросом «Как этого избежать в будущем?» Может показаться, что банально правы оказались те, кто еще в начале 2000-х годов указывал на состоявшийся возврат в 1937 год, то есть на неизбежный пароксизм власти, в советские 1930-е годы фатально стерший грань между экономическим уничтожением враждебных классов и физическим уничтожением населения. Согласно сторонникам такого взгляда, российская государственная власть «всегда» была деспотической и развратно смертолюбивой, а ее саморазоблачение в этом качестве было лишь делом времени и формы.

Ошибочность этого убеждения раскрывается уже в самом измерении времени. На протяжении более 30 лет, с конца 1980-х годов, на государственной территории Российской Федерации сосуществовало несколько политических режимов одновременно, и структуры суверенной власти и централизованного насилия, с глубоко вшитыми в них деспотическими соблазнами, как и в большинстве современных обществ, составляли лишь часть этого сплетения. Иные формы власти – власть рынка и гражданских ассоциаций – все эти десятилетия вносили фундаментальный вклад в конструкцию публичного порядка, которая примиряла начальственный надзор с рациональными стратегиями наживы, как и с эффектами социальной, профессиональной и благотворительной солидарности. Власть рынка в последнее десятилетие проявлялась наиболее наглядно не только в собственной форме экономических принуждений, но и в очевидном переносе логики конкуренции и рентабельности на общие блага сфер образования и культуры.¹ Ее компенсировал такой важный феномен институциональной коррекции, как пролиферация низовой публичной критики. Он прослеживался и в секторе профессиональных медиа, и в гетерогенной ассоциативной среде: начиная с соседских дружин по защите парков от коммерческой застройки и кампаний в социальных сетях против ошибок и злоупотреблений районных

¹ Подробнее см.: Бикбов А. Культурная политика неолиберализма // Художественный журнал. 2011. № 83 (3). С. 40-52.

управ, продолжая волонтерской рефлексией о городе, комфортном для всех, и вплоть до антикоррупционных расследований профессиональных НКО и массовых митингов.² Некоторые рецепты этой корректирующей критики впоследствии дополнили технологический арсенал государственного и регионального управления. Реформы полиции, государственной администрации, городской среды и даже ряд дискриминационных техник контроля над миграцией отсылают к рациональности, сперва артикулированной активистами и критиками из низовых ассоциативных объединений.

Не замечать учредительных эффектов разнообразия власти и контр-власти, к чему исходно предрасположены провозвестники «вечного» российского авторитаризма, – проявление специфической слепоты ко всем новым формирующим условиям, которые создавали российское общество последних 30 лет. При всем благородном трагизме, которым отмечена подобная слепота, представление о критике власти лишь как о моральном героическом противостоянии стало разновидностью опережающей интеллектуальной капитуляции. Значительно упрощая ответ на генетический вопрос об истоках войны, закольцованная на прошлом схема авторитарного строя неспособна предложить проектные решения, пока будущее-как-прошлое остается неизбежным и неизбежно мрачным. Тем самым, подобно кэрлловским остановившимся часам, анализ и прогноз, основанные на тезисе о «вечной» российской автократии, способны показывать точное время лишь дважды в сутки, не оставляя возможности узнать, когда именно наступает этот момент.

Была ли и будет ли более продуктивной диагностика по исследовательскому хронометру, который отставал от флуктуаций переплетенных структур власти всего на несколько минут, но точно так же не был способен предупредить о падении в голую власть и полномасштабную войну? Полагаю, что да, поскольку любые попытки сделать этот инструмент более точным в полной мере отвечает систематическому поиску ответа на генетический и на проектный вопросы. Если российский политический порядок последнего десятилетия не был «сущностно» авторитарным или фашистским, обнажение власти и колониальную войну следует рассматривать как историческое поражение неавторитарных и нецентрированных на территориальном суверенитете структур публичного порядка, получивших собственное место в российском обществе.

Предвестники их ослабления в период роста – и в первую очередь, гражданской контр-власти, в отличие от господства рынка – очевидны при самом беглом обзоре запретительных законов и репрессивных практик последних пяти или шести лет. Что менее очевидно, точечные репрессии и общая криминализация правительством политического активизма, борьбы против дискриминации и благотворительной работы замедляли также коммодификацию последних,

² Роль неправительственной политики, корректирующей критики и опережающего предложения управленческих технологий в гражданском секторе анализируют две частично совместимых парадигмы: фукольдианская аналитика правительности (см., в частности: Дин М. Правительность: власть и правление в современных обществах / пер. с англ. А. Писарева. М.: Дело, 2016. Гл. 6, 10) и критические теории демократии (Розанваллон П. Контрдемократия: политика в эпоху недоверия / пер. с англ. А. Захарова // Неприкосновенный запас. 2012. № 84 (4). С. 11-30).

которая сопровождала попытки создания постоянных ассоциативных органов. Иными словами, готовность активистов превратить ассоциативное действие в профессию и услугу (в отсутствие государственной поддержки) находила все меньше возможностей, а пространство легальной активности существующих независимых профсоюзов и профессиональных НКО сжималось. В отличие от такой делегализации гражданской контр-власти, российский политический истеблишмент никогда не осмеливался на аскетическое отрицание рынка – ни до, ни после начала войны. Последовавшие декларации и административные акты лишь подтвердили кардинальную заинтересованность правительства в устойчивом обороте капитала, которая обеспечивается продажей газа, без перебоев транспортируемого через территорию Украины в период вторжения, субсидирования 50% рекламных расходов крупных предприятий, поддержкой российских создателей видеоигр и иных мер, принимаемых Администрацией президента и Думой в разгар военных действий. Среди прочего, тот же органический интерес правительства в циркуляции капитала сделал (первоначально) невозможной фашистскую мобилизацию населения, т. е. такую милитаризацию публичного порядка, которая навязывала бы утопию корпоративской и сакрализованной нации, противопоставленную гедонистическому международному капиталу, и опиралась бы на низовые группы, рекрутирующие новых сторонников во имя этой идеи.³ С началом войны крайне правые сети и неонацистские группы не получили политического мандата, правительство и полиция удержали их в той зоне «опасной» самоорганизации, куда ранее были отнесены левые и феминистские инициативы, благотворительные и гражданские объединения.

Следует ли признать поражение различных видов гражданской контр-власти предрешенным и неизбежным в России начала 2020-х годов? Подъем муниципального движения, экспансия феминистских сетей и выход студенческого активизма за рамки узкого интереса профессионализации оставляли надежду на иные возможности. По мере того, как в правительственных структурах вызревало насилие без утопии, в среде низовых взаимодействий кристаллизовались новые разновидности тактического утопизма и спокойного буржуазного реформизма. Однако, при всей их кардинальной важности, практики политической и гражданской контр-власти не дают полной картины неоправданно нарушенного компромисса. Любому внимательному наблюдателю очевидно, что в 2010-е годы и в начале 2020-х годов гражданским структурам принадлежало все еще скромное место в конфигурации государственных институтов и в формировании их профессионального корпуса.⁴ Даже если идеи городского благо-

³ Основа этого определения фашистского режима представлена уже в классических исследованиях Эмилио Джентиле, в частности: Джентиле Э. Фашизм. История и истолкование / пер. с ит. А. Шурбелева. М.: Владимир Даль, 2022.

⁴ Следует помнить, что это место, пускай и скромное, не было пренебрежимо малым. Трансмиссия гражданской повестки в государственные институты в отдельные периоды происходила через такие органы, как региональные общественные и гражданские палаты, наблюдательные комиссии в тюрьмах (ОНК), советы при правительстве и президенте, институт омбудсменов и ряд иных. Реформы региональных администраций в отдельных случаях консультировали гражданские эксперты и правозащитники, реформы городского управления – энтузиасты и бизнесмены, увлеченные урбанистикой. Публичные кампании против коррупции и сексуаль-

устройства, антикоррупционные матрицы или контроль условий тюремного содержания были заимствованы официальными акторами у ассоциативных, это нередко происходило помимо публичного диалога и процедурно регулируемого конфликта. Не менее, если не более весомый ответ о формуле российского политического порядка и о его мутациях с большой вероятностью содержится в сложной, подвижной композиции самих институтов правительства.

Неотрадиционализм: от подчиненной функции – к собственной агентности

Невыносимая наглядность войны, которую правительство запретило называть собственным именем, запечатлелась в образе погибших от ракетных и одиночных выстрелов жителей украинских городов, в арестах несогласных на российской территории, в экстренной и массовой эмиграции, в уловках военкомов, равнодушно ведущих квоитированную жатву призванных. Из колониальной кампании, опорой которой служила в первую очередь профессиональная армия, с объявлением массовой мобилизации война была превращена в национальную. Пароксизм голой власти, давший новое и страшное определение России в момент окончательной утраты равновесия, ясно обозначил точку отсчета в системе политических координат. Если предыдущее десятилетие было периодом подвижного равновесия между модернистскими и консервативными фракциями в политике и культуре, между различными видами интернационализма (как культурного, так и финансового) и не менее разнородными версиями национализма, то катастрофа войны стала выражением бесспорной победы консерваторов. При этом победы не столько карьерной, сколько идейной.

Ощутимая даже по меркам первой украинской войны 2014 года смена позиций мгновенно отразилась в строе официального языка и законов. Основы всей символической конструкции 2022 года, соединившей влечение к насилию с гипермаскулинной и расистской чувственностью, были публично предъявлены уже в период аннексии Крыма. Радикальное отличие заключалось не в том, что сказано, а в том, кто говорит. В 2014 году катакомбные публицисты, подобные Крылову, Дугину, Старикову, Гиркину, получив согласие кураторов из Администрации президента на газетные полосы и вождеденные минуты центральных телеканалов, заново ввели в публичный оборот идеи о несуществующей и нацистской Украине, о воинственной геополитической миссии России и о торжестве русского духа, прежде погребенные в крайне правых нишах. Подобное просачивание из мрачных катакомб на сцену массовых коммуникаций было безусловно отталкивающим и опасным, но условия компромисса все еще позволяли не принимать его всерьез. Дистанцируясь от требовательных расистских риторик, правительство и правящая партия официально удостоверили их излишний радикализм, что позволило сформулировать собственную, более умеренную идентичность в терминах «здорового консерватизма». Тот факт, что в

ного харассмента в медийном сопровождении выступали (порой успешными) попытками просеивания профессионального управленческого, а также преподавательского корпуса.

2022 году официальные государственные представители, начиная с президента, отбросили центристскую умеренность и заговорили словами крыловых и гиркиных из 2014 года, означал даже не карьерный успех последних (вскоре после аннексии Крыма те были снова выдворены в их собственные ниши), а сдвиг самой координатной сетки. В 2022 году крайне правая чувствительность стала новым центром. Именно поэтому нишевые правые публицисты не были кооптированы в политический истеблишмент. Скорее, это укрепило позиции этаблированных националистов и сторонников теорий заговора, таких как Владимир Мединский, Дмитрий Rogozin, а также безымянных, но влиятельных советников из рядов спецслужб и армии.

Отвергнув тезис о «вечном» российском авторитаризме, следует ли, пользуясь терминологией Вебера, признать в состоявшемся сдвиге историческую констелляцию, или непредвиденную случайность, даже если в данном случае речь идет о переписанной биографии властвующего класса и всей страны? Выбирая между неизбежностью российской диктатуры и насмешкой истории, мы излишне упростили бы веберовский подход, упустив из виду куда более глубокое, социологическое объяснение механики сдвига. Оно раскрывается в описании административной функции, которую получили консервативные идеологии и новый традиционализм как инструменты управления населением.

Отвечая ранее на вопрос о генезисе российского политического режима 2000–2020-х годов, я ввел гипотезу инструментальной функции нового российского традиционализма.⁵ Согласно ей, ультраконсервативные элементы российского политического порядка воплощают совсем не примитивное, линейное влечение российского властвующего класса к архаичному господству. Напротив, они несут в себе крайне изощренную периферийную разновидность духа капитализма, который делает приемлемыми страсть к наживе, неравенство, дробление социальной и гражданской солидарности под лозунгами органического единства нации и священной традиции. Формулируя это иначе, переизобретаемая национальная традиция и социально несправедливый рынок в последние два десятилетия представляли собой не конкурирующие структуры власти, которые истощали друг друга в непрерывном столкновении, но синтез, выстроенный медленно и наощупь, который наделил капитализм умеренной привлекательностью в обществе, в полной мере не захваченном влечением к индивидуальному успеху и систематической наживе.

Основания к такому прочтению с трудом обнаруживались в реакции властвующего класса на гражданские протесты 2011–2012 годов, художественную или гендерную критику, поскольку эта реакция сопровождалась сверхпроявленными консервативными симптомами и эксцессами институционального морализма. Именно серия реакционных запретов заставила многих критиков режима увидеть в нем воплощение одного лишь деспотического соблазна. Другое измерение, парадоксальным образом менее очевидное в силу его институциональной и хронологической протяженности, а также многообразия продук-

⁵ Bikbov A. Neo-traditionalist fits with neo-liberal shifts in Russian cultural policy. In: Jonson L., Erofeev A. (Eds.). *Russia – Art Resistance and the Conservative-Authoritarian Zeitgeist*. L.: Routledge, 2017.

тивных (в отличие от рестриктивных) форм, сыграло существенно более важную роль в рождении нового публичного порядка. Инструментализация консерватизма происходила в контексте административных, налоговых и финансовых реформ последних двух десятилетий, в ходе которых тот же властвующий класс, с опорой уже на совсем иных экспертов, обладателей интернациональной компетентности и вкусов, принуждал население к состязательной индивидуальной продуктивности и мотивировал к экономическому благополучию. И в данном случае речь шла не о самых крайних, блокирующих и шокирующих, проявлениях неолиберального курса: закрытии малочисленных школ и коммерчески неуспешных культурных учреждений, упразднении экономически невыгодных учебных программ и кафедр.

В куда более широких масштабах выражением неолиберальной рациональности стала финансиализация общих благ и социальных гарантий. Это и ранняя (в 2003 году), уже почти забытая отмена налоговых льгот для издателей учебников, и радикальный отказ от единой тарифной сетки (зарплат) в государственном секторе, которая в 2008 году была замещена гибкими премиальными поощрениями по образцу частного сектора, и закон 2011 года о бюджетных и казенных учреждениях, который обязал государственные заведения предлагать часть своей деятельности на рынке коммерческих услуг, и реформа управления поликлиниками, музеями, университетами 2010-х годов, нормализовавшая подушевое финансирование, принудительные индексы компетентности и рентабельности.⁶ Проводники этих типичных по опыту США и Западной Европы мер, такие как уже упомянутый Мединский на посту министра культуры, одновременно выступали выразителями ясной неотрадиционалистской повестки. Принуждая работников публичного сектора и их семьи к конкуренции за общие блага и ратуя за поощрение неравенств, они же выступали защитниками национального сплочения, традиционной семьи и немеркнувшей военной славы России.

Введение новых норм состязательности под знаменем национальных интересов превратили государственные гарантии в поле борьбы за привилегии и акционировали общий фонд культуры. Радикально индивидуализирующие и монетизирующие технологии управления населением, принуждаемого к неравенствам, сопровождались ультраконсервативными пропагандистскими кампаниями по производству национальной морали. Соединение этих двух, на первый взгляд, предельно конфликтных разновидностей экспертизы и мотивирующего воздействия привело к своего рода инверсии веберовской модели капитализма. В противоположность XVII-XVIII столетиям, когда европейская религиозная аскеза вела к неожиданным прорывам в технологиях прибыли, на пороге российского XXI века доказавший свою экономическую эффективность глобальный капитализм был травестирован в фольклорный кошкошник и монашескую рясу.⁷ Компромисс предшествующего войне десятиле-

⁶ Подробнее см. цитируемую выше статью.

⁷ В этом смысле, новый дух российского капитализма также радикально отличается по форме от его «гибкой» разновидности, проанализированной во французском и, более широко, европейском контексте: Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма / пер. с франц. под общ. ред. С. Фокина. М.: НЛО, 2011.

тия строился, таким образом, не только на умеренной терпимости правительства к гражданской критике, но и на прагматичном использовании традиции во имя продуктивности.

Ввиду этой изощренно двойной конструкции политического режима, ошибки в его истолковании могут показаться более простительными. Не принимать неорархаику и ее глашатаев всерьез располагало не только эхо 1990-х годов, которым отдавали речи опереточных шовинистов, но и функциональное подчинение неотрадиционализма задачам нового государственного менеджмента. В этих условиях традиционалистские эксцессы представляли лишь «одомашненным» утилитарным рудиментом. Настоящая катастрофа начинается в той неоднозначно диагностируемой точке политической хронологии, где консерватизм высвобождается из инструментального и подчиненного положения, приобретая собственную агентность. То есть превращается в автономный принцип принятия политических решений.

С большой вероятностью можно предположить, что этому способствовала другая историческая превратность – эпидемия коронавируса. Она переупорядочила не только масштабные пространственные взаимодействия населения, но и внутривластьственную коммуникацию. В последнем случае изменения материализовались и в пресловуто длинном столе, за которым размещали редких зарубежных собеседников российского президента, и в специально оборудованных боксах, где обязательный двухнедельный карантин должны были проходить его российские визави, но прежде всего – в почти полном прекращении предварительных консультаций президента с министрами и экспертами перед принятием решений.⁸ Круг советников и спектр предварительной экспертизы радикально сузился, сообщив диспропорциональный вес тем, кто в нем остался. И именно в этом крайне редуцированном пространстве властного доверия и общения архаичный соблазн деспотического насилия обрел собственную форму, пароксически конденсировав прежде рассеянные симптомы и практики.

Воинственный неомеркантилизм: угроза будущему, прерывание цикла

Критическая реконструкция компромисса 2010-х годов и обстоятельств его разрыва существенно проясняет генетический вопрос: «Как стала возможной война?» Архаичное уплотнение суверенных соблазнов в спазме властной коммуникации обратило неолиберальные тенденции в меркантилистские. Как я уже отметил, правительство сохранило безусловный интерес к обороту капитала и экономическому процветанию, но вместо стимуляции продуктивности (включая ставку на высокотехнологичное образование) средством воплощения этих амбиций сделало расширение территории. В таком свете элементы меркан-

⁸ Неизбежно частичная коллекция этих эпизодов была собрана российскими СМИ в 2020–2022 годы, нередко – в жанре властного курьеза. Между тем, именно такие сдвиги в структуре властью управляемой коммуникации наиболее последовательно раскрывают этапы подготовки катастрофы.

тилистского порядка, хорошо известные по европейским моделям Нового времени, приобрели окончательное, в том числе военное, выражение. Среди них – абсолютизация ренты, получаемой от продолжающегося экспорта газа и нефти, колониальные завоевания как инструмент ожидаемого усиления национальной мощи, протекционизм в отношении крупных национальных компаний и локальной валюты (включая завершившуюся с началом войны суверенизацию системы расчетов), сопутствующая централизация управления, побуждение местного населения к националистической и патриотической лояльности, принудительное перемещение населения и ресурсов с колонизируемых территорий.⁹ Учитывая, что милитаризация всей конструкции была начата в ходе второй чеченской войны (с 1999 года) и лишь ускорилась с первой украинской (с 2014 года), наивно было бы ожидать внезапной смены курса в 2022 году. Как и старый меркантилизм, текущая разновидность в своей основе стала автаркическим и колониальным режимом управления территорией, ориентированным на экспансию. Это означает, что уже необратимая трагедия военной агрессии в Украине может служить точкой отсчета для новых колониальных «возвратов» к меркантилистскому прочтению величия России.

С начала войны жители Украины предлагали российскому сопротивлению кардинальное решение проектного вопроса: «Как это предотвратить?» – вооруженное восстание против правительства-узурпатора. Учитывая сверхпредставленность в российском протесте с начала 2010-х годов выходцев из образованных и культурных сред¹⁰, во многом характеризующую и антивоенное движение, такое решение выглядит социологически маловероятным. Отправляясь от собственных свойств среды протеста, следует в первую очередь уточнять стратегии сопротивления неомеркантилизму средствами культуры. Речь в данном случае не об антивоенном активизме, обладающем безусловной ценностью, а о более отдаленном горизонте, который проявляется в исследовании генезиса войны и ее возможного продолжения.

Просачивание консервативных, суверенистских соблазнов в структуры власти завершилось в пространстве обедневшей властной коммуникации. Но началось оно с активной адаптации нишевых ультраправых теорий к публичному обороту. В попытках катакомбных мыслителей пробиться на публичную сцену вряд ли можно обнаружить что-либо экстраординарное. Куда большей познавательной интригой и действительной политической опасностью стало публичное долгожительство их идей. Упомянув ранее об инструментализации правительством традиционализма и низовых традиционалистов, я указал на

⁹ Сдвиг к меркантилистской модели не исключителен для России и тесно сопряжен с усилением консерваторов в правительствах разных стран. Так, экономическую программу Дональда Трампа некоторые аналитики интерпретировали как возврат к меркантилизму: Salman Ahmed, Alexander Bick. Trump's National Security Strategy: A New Brand of Mercantilism? // Carnegie Endowment for International Peace. 17.08.2017. URL: carnegieendowment.org/2017/08/17/trump-s-national-security-strategy-new-brand-of-mercantilism-pub-72816 (дата обращения: 14.12.2022).

¹⁰ Подробнее см.: Бикбов А. Методология исследования «внезапного» уличного активизма (российские митинги и уличные лагеря, декабрь 2011–июнь 2012) // Laboratorium. 2012. № 2. С. 130-163.

ограниченный карьерный успех последних. Куда более серьезный риск представляла даже не их прямая кооптация во властные структуры, а их тихая интеграция в «нейтральные» институты образования и культуры. Передаточными звеньями в диффузии ультраконсервативной доктрины осажденной крепости, церковных утопий вечной нормативной семьи и России как последнего бастиона духа, как и в пропаганде неудержимой экспансии «русского мира» во всех его формах, стали многочисленные экспертные форумы, электронные журналы и сетевые СМИ, а также кафедры региональных и центральных университетов, диссертационные советы академических институтов и экспертные центры, которым многие сегодняшние противники войны вовремя не уделили достаточно внимания и усилий по интеллектуальной демистификации.

Тревожная характеристика десятилетия компромисса, предшествующего войне, заключалась в том, что рутинизация консерватизма в виде доступной и разделяемой культуры зачастую сопровождалась небрежным и испуганным уклонением от полемики самых компетентных интеллектуальных игроков, а кампании солидарности с теми, кто подвергался прямым атакам или давлению со стороны неотрадиционалистов, были зачастую недостаточно решительными и громкими. Ответственно используя понятие коллективной ответственности, следует признать, что она не может быть вменена российскому культурному классу непосредственно за войну. Однако более чем уместно обсуждать коллективную и индивидуальную ответственность за предвещающее войну молчание.

Учитывая переход российского неомеркантилизма в открыто колониальную и военную фазу, пора окончательно расстаться с мифом о «вечном» российском авторитаризме. Необходимо приложить достаточное коллективное усилие к раскодированию российского колониального мышления, прослеженного вплоть до сегодняшнего дня и его культурных (т. е. имманентных интеллектуальному производству), а не только властных (внешних для культуры) форм. Среди прочего это предполагает отказ от расхожей иллюзии, что российское государство никогда не было, а потому исторически не может стать колониальным. Укрепление национальной мощи за счет присоединения территорий несет в себе неизбежность войны, и непризнание колониальных мотивов за «восстановлением единства» России негласно узаконивает будущие вторжения.

Интеллектуальная деколонизация культуры невозможна как возврат к утопическому довоенному состоянию. Катастрофа уже произошла, став возможной благодаря эротизированной насалием встрече между неоконсервативными публицистами из националистических катакомб и дилетантами-историками в правительстве. Модернистские культурные фракции в самом российском обществе уже в значительной степени отеснены с публичной авансены или вытолкнуты за границы страны. Это означает, что восстановление культуры, включая производство нового взгляда на историю и политический порядок, возможно только в диалоге между российскими и украинскими, армянскими, казахстанскими и другими носителями несовпадающего колониального опыта. Диалоге, который на первых шагах будет коннотирован соблазнами исконности, исключительности и превосходства, неизбежно сопровождающимися колониальную власть по разные стороны учреждаемых ею границ и делений. Пересмотр политических очевидностей прежней интеллектуальной работы и

конструирование новой культуры поверх прежних границ, внимательное к изначальной уязвимости этой культуры и к энергии разрыва, которую она в себе несет, – это первая большая задача. Она позволяет если не прекратить войну мгновенно, то сделать ее менее вероятной в будущем.

Вторая большая задача прямо следует из понимания культурных предпосылок воинственного неомеркантилизма и необходимости гражданского использования культурным классом своих профессиональных навыков. Консервативный каркас неомеркантилизма складывался из нескольких нескоординированных источников. Евразийское движение, вдохновляемое публицистом Дугиным; религиозное сектантство, заложившее основы юрисдикции «оскорбленных чувств»; теории исторического заговора против России, массово поставляемые с начала 2000-х годов сетью авторов-дилетантов, подобных Старикову; и даже «мягкий» идейный неофашизм «Реструкта» Марцинкевича или «Русского образа» Горячева, которые прикрывали деятельность подпольных неонацистских групп в конце 2000-х годов – лишь некоторые из этих источников. Поднимаясь из катакомб в поисках культурной респектабельности, все эти группы и публицисты были поначалу крайне чувствительны к слову интеллектуально состоятельных и состоявшихся игроков. Некоторые формы критики они встречали крайне агрессивно, от кампаний ответной травли до убийства ученого и судебного эксперта Николая Гиренко и адвоката-антифашиста Станислава Маркелова. Но в подавляющем большинстве случаев они кардинально зависели от точечного суждения или опасливого молчания культурного класса, эффективно капитализируя брезгливый нейтралитет, который маскировал их публичное восхождение.

Эту часть культурной истории России уже не переписать, а убитых не вернуть. Но серая зона, в которой и сегодня лично или виртуально пересекаются носители консервативной повестки и обладатели правительственной власти, все так же неустойчива и одновременно экспансивна. Она может и должна служить зоной привилегированного внимания, направленного интеллектуального действия образованных противников войны. Необходима коллективная работа по классификации носителей консервативной повестки, их идей и приемов, точных механизмов их институциональной передачи, условий карьерной кооптации, успешных способов их демистификации. Все это должно быть предметом ясного высказывания, систематических публикаций, подбора аргументов, к которым могут прислушаться обладатели разной политической и культурной чувствительности. Это совершенно необходимо, чтобы прервать смертоносный цикл, разъединить связи внутри целых консервативных гнезд и сложившихся альянсов, сместить фокус публичной дискуссии с оборонительной критики авторитаризма на утверждение культурных альтернатив, создаваемых в модальности антиколониального осмысления общества.

Поможет ли такая работа демонтировать воинственный меркантилизм? Полагаю, что да. Это, безусловно, произойдет не сразу: производство культуры чувствительно ко времени, необходимому для встречи участников диалога, совместному исследованию и публичной циркуляции находок. Помимо прочего, в такой распределенной работе особое внимание могут привлечь противники государства как такового, чьи убеждения лишь укрепились с травматичным опытом жизни под давлением или в вынужденной эмиграции. В этом случае

новая доминирующая культура будет способствовать реверсивному обращению меркантилизма в неолиберальный капитализм, исключая более солидарные модели. Но если эти две задачи не будут решены в принципе, культурная основа российского неомеркантилизма, диктующая колониальный взгляд на соседние территории, воспроизведется в новом цикле. Предпосылки для военных вторжений будущих десятилетий найдут место в моделях образования, в структуре культурных удовольствий, в атмосфере семейного воспитания.

Катастрофа войны породила не только специфическую травму жертвы у всех, кто, проснувшись утром 24 февраля, обнаружил, что отныне принадлежит к обществу-агрессору. Она сделала неотложным поиск новых теорий и культурных форм, которые не позволят погрузить эту травму в повторное молчание, которые сделают возможной ее переработку.